

Муж Елены Николаевны вдруг, ни с того ни с сего, решил отрастить усы.

Это опрометчивое решение он принял будучи в приподнято-поддаемом состоянии после того, как у них родился первый сын. Уж как она этому сопротивлялась, но всё без толку.

– Ну что ты упёрся-то, – пыталась достучаться до мужа Елена Николаевна, а про себя думала: «Упёрся, как осёл египетский».

Но муж только поглаживал себя по свежим усикам и, довольный собой, смотрелся в зеркало при каждом удобном случае. Он пребывал в полной и непоколебимой уверенности, что усы придают ему мужественности.

– Будешь надоедать, так вообще отращу, как у Чапаева, у Чапаева-т усы вон какие значительные были, – угрожал он Елене Николаевне.

Усы с тех пор Елена Николаевна невзлюбила. Просто невзлюбила, без особого фанатизма. Незаметно эта невзлюбовь выросла в ровное презрение, а потом и в чистую женскую ненависть. Елена Николаевна усы ненавидела люто, а мужа за ними постепенно вообще перестала видеть.

Так растительность под мужским носом стала для неё символом всех женских невзгод. Иногда Елене Николаевне даже казалось,

что критические дни – это женское проклятие, которое как-то связано (обязательно связано!) с мужскими усами. Прямой логической связи здесь вроде бы не прослеживалось, но где-то глубоко внутри Елена Николаевна эту связь ощущала так остро, что никаких умственных доказательств ей было и не нужно.

* * *

Шли годы.

Рождение второго сына, казалось, станет тем клином, который вышибет из мужа его ослино-усовое упрямство.

Елена Николаевна представляла, что, дважды став отцом сыновей, муж должен удовлетвориться этими проявлениями своей мужской силы и необходимость в усах отпадёт сама собой. Вроде логика была железной и простой, но она оказалась бессильна, когда речь заходила об упрямстве мужчины.

Когда родился второй ребёнок – мальчик, то муж отпустил усы ещё длиннее и стал походить на карикатуру, где смешались Чапаев, Тарас Бульба и Тараканище из сказки Корнея Чуковского. Но если у тех персонажей были своеобразные и brutальные мужские достоинства, то у мужа Елены Николаевны за усами скрывалась испитая физиономия и оловянно-

ные глаза с полным отсутствием в них какой-либо мужской цели в жизни.

– Ты хоть немного можешь подумать обо мне, ведь в таракана превратился уже, мне перед людьми стыдно, – Елена Николаевна говорила скорее из возмущения нелогичным поведением мужа, чем из надежды, что будет услышана.

– Да кто твои люди-т, Нинка, что ли, с работы или вон Машка с пятого, так они-т дуры ж жирные, ещё б о них-то бы я не беспокоился. Нинка пускай на своего Петровича-т поглядит, как у него руки-т из жопы-то растут, а Машка, так она-т вообще кому нужна-то, с тремя-т её выкормышами, так одна всю жизнь и жиреет, страхолюдина.

Усиное мучение было с тех пор перманентным фоном будничных и выходных дней Елены Николаевны.

Всё шло привычно-раздражающей чередой. Два сына выростали в двух дылд, которые оказались на редкость похожи на отца. А старший даже начал брить над верхней губой, срезая подростковый пушок, чтобы скорее отрастали взрослые жёсткие волосы.

* * *

Жизнь Елены Николаевны резко выпрямилась в один из ясных весенне-летних дней.

В такие дни тысячи горожан мужского пола залегают на своих дачных участках, мучаясь похмельем и несварением желудка от вчерашнего шашлыка. Воскресное дачное утро становится невыносимым для больного тела – кусают молодые, дикие комариные первенцы и детёныши мошек, а в запасе только полбутылки вчерашнего прохладного, но уже чуть подкисшего пива.

Выходной отдых идёт коту под хвост, потому что именно в такие сложные жизненные моменты настойчивые жёны заставляют удобрять навозом свежевываженные помидорные кустики или вообще какие-нибудь грядки.

Вокруг благодать, но это мало кого волнует. Ранняя клубника уже поспела, и молодые сороки, наперегонки друг с другом, воруют по утрам у несчастных дачников первые краснеющие клубничные ягоды. Если кому-то хочется быть первым в гонке с сороками, то в саду совершенно необходимо пугало. В противном случае придётся ждать, пока наедятся сороки и их подросшее с апрельского выводка потомство.

Мужчинам это дело безразлично, но большинству женщин ждать, пока наедятся сороки, не хочется, и иногда назойливые жёны разнообразят навозно-помидорный досуг супругов задачей изготовить пугало.

По пугалу можно судить не только о старании супруга, но и о достатке владельцев дачного участка.

Наблюдать за интимным процессом изготовления пугала – занятие пошлое и в какой-то степени извращённое, зато результаты процесса всегда налицо. Для того, в общем-то, пугало и делают, чтобы выставить на всеобщее обозрение. И если сороки и прочая птичья живность должны, по версии человека, пугаться, то соседи совсем этого делать не обязаны, а то и могут даже засмеять, если пугало будет какое-то не такое, как надо. Поэтому результат интимного процесса изготовления пугала очень для дачников важен.

* * *

Тимофей Тимофеевич сегодня в автобусе слышал, как разговаривали несколько старшеклассников. Болтали о всякой ерунде, но тут один что-то там не понимал, и второй, объясняя ему, так небрежно бросил:

– Ку-ку, ёптель.

И так это Тимофею Тимофеевичу понравилось, что он весь день вспоминал этот «кукуёптель».

Сегодня он решил съездить на их с женой старый дачный участок и нанять кого-нибудь для быстрой вскопки.

– Зарастёт, и ещё подумают, что помер, начнут названивать, – не торопясь, собираясь, вдруг подумал, что надо поставить пугало, чтобы видели, что он ухаживает за дачей.

* * *

Два мужика из дачных сторожей быстро вскопали землю и ушли восояси, а Тимофей Тимофеевич сколотил и поставил пугало.

– Ку-ку, ёптить, – усмехнулся он, попробовав рукой, крепко ли стоит жердь, и, посидев на крыльце бани, отдохнув, пошёл на автобусную остановку.

* * *

Вокруг было уже много запущенных и заросших участков, но Елена Николаевна любила свой сад.

Иногда кто-то из соседей приезжал и, нанимая мужика с культиватором, перепаживал весь свой дачный участок. Видимо, в один из таких приездов сосед напротив, старый крепкий дед Тимофей Тимофеевич, перекопал свой сад и поставил на участке твёрдую фигуру на надёжно вкопанной жердине.

Фигура одиноко вырывалась вверх за-посреди забора, и Елена Николаевна сразу обратила на неё внимание. Она подошла и поглядела на результат труда деда-соседа. Никого не было, и Елена Николаевна почувствовала неловкость от своего такого открытого внимания к чужому участку.

– Ещё ведь сейчас увидит кто-то, и подумают что-то неправильно, – она решила отшутиться от этого чувства неловкости.

– Здравствуйте, – кивнула она в сторону шиферной крыши соседа, словно кого-то увидела и подошла поздороваться.

Пугало стояло боком, спокойно и невозмутимо.

– Наверно, Тимофей Тимофеевич назвал бы его Ермак, – подумала она и успокоилась.

Судя по одежде, пугало было мужского пола.

Брутальная куртка и накинутый на голову капюшон возвышались над невысоким межучастковым заборчиком. «Ермак» был повернут к Елене Николаевне вполборота...

* * *

Постепенно она привыкла к Ермаку и, уезжая на зиму в город, подошла к низенькому заборчику между участками. Смущаясь, помедлила и потом быстро надела Ермаку на голову вязаную шапку.

* * *

Вернулась весной и сразу пошла к забору.

Ермак стоял на месте и только слегка помахивал одной пустой рукавиной толстой куртки. Тимофей Тимофеевич не приезжал, а потом кто-то из соседей сказал, что он умер.

Представив, что Ермак немно- го постоит, приедут новые хозя- ева и непременно сломают его, Елена Николаевна одним геро- ическим усилием доброй воли перешагнула заборчик и перенес- ла Ермака к себе.

За лето Елена Николаевна поменяла Ермаку зимние пожух- шие тряпки на новую одежду с красным подкладом. А к осени решила надеть ему под низ ещё и рубашку, чтобы не задубел от сырости.

Уезжая на зиму в город, Елена Николаевна украдкой помахала Ермаку рукой.

* * *

Всю зиму она жила в радост- ном ожидании встречи и даже забыла обращать внимание на то, что усы мужа становились длин- нее, что муж открывал иногда рот и что-то там говорил длинными, пустопорожними и беззвучными монологами.

* * *

Весна была ранняя и светлая.

Пронизывающая невыноси- мо тонким звоном капель – она ангельским пением просветляла каждый день, а на ночь утихала до колыбельного редкого перекапа.

– Пока ещё немного про- хладно, но летом будет совсем рай, – эта мысль радовала Елену Николаевну своим тихим и мяг- ким светом. Томление, ожидание, радость – ничто по отдельности не было в состоянии передать переживаемые в душе чувства, но и всё вместе было лишь словами, которые, оказывается, так мало могут передать, особенно, если речь идёт о счастье.

Елена Николаевна не могла напитокя тем счастливым обсто-

ятельством, что уже второй год они с мужем спят в разных ком- натах. На его редкие трусливые попытки домогаться она жалова- лась на недомогание и усталость и уходила к себе одна. Поворачивая неслышно ключ, закрываясь изну- три, ложилась на кровать.

Она закрывала глаза. Она слов- но становилась светлой.

* * *

Дверь на веранду была рас- крыта. Свежий весенний воздух и искристые пылинки. Пылин- ки сталкивались в падающих на пол лучах. Сталкивались, тонко бились друг о друга, покручива- лись в плавных невесомых стол- биках марсианскими пыльными мини-смерчами.

– Кажется, они называются пыльными дьяволами, – Елена Николаевна недавно видела такую фотографию в Интернете. Там тоже были закрученные тюрючки, только фон был неземной, красно- ватый, и подписано «марсианские пыльные дьяволы».

Она сидела на полу и переби- рала старые вещи, думая заменить Ермаку рубашку после зимы. Про себя неслышно разговаривая с Ермаком.

– Такую, может, или потолще взять? – она рассудила так – если что, то к зиме и поменять можно, и взяла рубашку летнюю.

* * *

– Там, это твоё, чучело-т кото- рое... сломалось оно, – муж плюх- нулся на диван.

– Чт-т-о?.. – она отложила в сторону мягкие рубашки.

– Чучело-т твоё это, его культиватором-то сбили, ну, а пока там с мужиками-т работали, наши бобики его растерзали, – он

хотнул и потянулся за пультом от телевизора.

– Наши охломоны-т, ну дети-т наши, они его порвали, как свинья грелку, – он хохотнул. – Они с ним бои без правил делали, всё равно уже валялся-т сломанный-то, не жалко уж, – мужнина рука с пультом поднялась к лицу и на секунду остановилась, как бы раздумывая. Потом муж мельком глянул в её сторону и почесал усы пультом.

– Ну и чего такого-т, ты ж не дура, чтоб по чучелу-т плакать-то, – он включил телевизор и, осторожно потеряв пульт об обивку дивана, положил его рядом с собой. Когда они купили этот телевизор, то пульт был в отдельном плотном целлофановом чехле. Тогда муж сказал ей и детям, что так переключать в чехле и будут, чтобы пульт не сломался и не истёрлись надписи на кнопках. За пару лет целлофан измызгался, стал мутным и мелко оборвался на сгибах. Муж всегда очень трепетно относился к телевизионному пульту и даже обернул его недавно новой плёнкой. Она вспомнила, что видела, как муж достал пульт из старой замызганной целлофановой обёртки, которая не вскрывалась с самой покупки телевизора. Пульт был удобным и даже симпатичным на вид, а она ещё сказала, что надо пульт так и оставить, зачем в эти страшные целлофанки его запаковывать. На что муж ответил, что лучше знает, ведь он мужчина же всё-таки. Она тогда только пожала плечами, ведь пультом всё равно пользовался муж, она не очень любила смотреть телевизор.

Но то телевизор, а здесь-то другое. Здесь она одна знала...

На лёгких, нечувствительных ногах она, как ни странно, дер-

жалась твёрдо. Вставая, только немного, споткнулась.

– ...ты ж не дура... дура... ду-у-ра... – эхо слов было глухим и тревожным. Она провела рукой по волосам, поправила, а потом тяжелеющей кистью распустила собранный сзади клубок.

– Пойду, посмотрю, как та... – она запнулась, но договорила: – Как там, посмотрю, пойду.

Стараясь не глядеть в сторону мужа, она подошла к серванту, раскрыла его, потрогала, как бы поправляя, пару хрустальных бокалов. Солнце доставало сюда рассеянным полусветом, и редкие, ломкие и расплывчатые огоньки иногда скользили по хрустальным граням праздничной посуды. Она спокойно прикрыла дверцу серванта.

* * *

Идя по дому, Елена Николаевна обратила внимание на то, как отчётливо ей слышен в доме каждый скрип и шорох.

– ...как вокруг запущенно и безлюдно... и тихо... – внутри груди ничего не болело, там было тоскливо, и чувствовалось тепло приближающегося солнца. Тепло это, абсолютное и неотменимое, разливалось по телу, и Елена Николаевна словно оживала в этом тепле, проникалась этим теплом.

– ...вот, птица где-то кричит, а на втором этаже скрипнули доски дома... это ветер такой сегодня, что ли, что дом скрипит и покряхтывает... – Елена Николаевна надела свой фиолетовый садовый плащ.

На крыльце она замешкалась. Подумала, что надо, наверно, что-то с собой взять. Ну, хоть взять куртку какую-нибудь новую или бечёвки моток с собой, чтобы поправить, вдруг надо.

– ... а что же поправишь, если поправлять нечего... – она спустилась с крыльца и посмотрела в сторону сада, но, поднимая глаза, вдруг зацепилась взглядом за что-то знакомое, что было брошено за цветочную клумбу. За клумбой забился изодранный и истоптанный кусок от рубашки Ермака. Светлые тона рубашки пытались пробиться сквозь грязь, но и они уже темнели от сырости.

– ... зачем же было ломать... изодрали вот... – она держала грязный обрывок рубашки так же аккуратно, как недавно перебирала и держала в руках рубашки новые, чистые. Темнели и набухали водой оставшиеся на куске ткани светлые, нетронутые полосы, свет их тускнел и расплывался на глазах.

Кто-то из соседей включил радиоприёмник. Над садом поплыла туманка надорванного женского голоса: ...а ты такой холодный, как айсберг в океане...

Елена Николаевна пошла в сад, к Ермаку.

* * *

Ермак лежал на земле, разбитый. Красные куски ткани, вывалившись из его разорванных гвоздём живота и груди, подрагивали на ветру. Руки хотели перебить палкой, но не смогли. Лицо было целым.

Она взяла его голову и немного нагнула к себе. В сад опускались языки ветра, и шумела от их касаний прошлогодняя трава. И показалось Елене Николаевне, что это Ермак пробует что-то сказать. Голос рос и ширился, и вот уже стали различимы остатки целых слов. Но слова всё никак не складывались, а только сливались в густой колокольный набат

и нависали над землёй: Э-о-о-о, Э-о-о-о-о-о...

– Э-э-э-о-о-о... и-и-ли-и-и... ва-а-а... у-а-а... и-и-и-и... – колокол печально гудел в небе, Елена Николаевна была пронзаема этим гудением.

– Эл-л-лой-и-и-и...Элой-и-и... лам-м-ма-а-а сава-ани-и-и-и-и?..

Ермак лежал, раскинув руки, и казалось, что он шепчет Елене Николаевне прямо в лицо эти слова на каком-то древнем, давно забытом языке.

– Господи, Господи, спаси меня, спаси мою душу грешную! – беззвучно шевеля губами ответила она Ермаку. Слёзы текли по её лицу и застилали небо, а Ермак всё шептал и шептал в унисон с бьющимися в её горле словами.

Всё смешивалось в этих словах, и ливень смывал всю память об их значении.

Надвигалась гроза, и не было от неё спасения.

– Я ничего не понимаю, Господи, я ничего не понимаю, – плач Елены Николаевны разорвал пелену ливня, и лопнуло мягкое подбрюшье грозových облаков. Молния разорвала полнеба, и страшный грохот застил землю. И только тело Ермака трепалось на ветру старой чердачной куклой, и не было конца горю и стенанию в сердце.

Елена Николаевна протянула руки, чтобы забрать из этого мрака Ермака. Она обхватила изодранный трупик обеими руками и закрыла его собой, она прятала его от невысказанного небесного гнева. Она укрывала его от небесной ярости. И никому на свете она не дала бы сейчас коснуться его невиновности.

И безумие отступило. И наступил свет. Она увидела.

Свет бил в закрытое шторой окно. Елена Николаевна открыла глаза и услышала бьющуюся в паутине за окном пчелу. Пчела неистово трепыхалась и хотела освободиться из тонкой липкой пелены паутины.

Откинув одеяло, Елена Николаевна встала и, раздвинув шторы, смахнула пчелиную тюрьму с крыльев несчастного насекомого. Пчела кувыркнулась на подоконнике и взмыла вверх, потом резко крутанулась и ушла вбок, в сторону садовых цветочных клумб.

– Вот так-то, лети теперь... Так и надо... – чуть слышно прошептала Елена Николаевна и закрыла окно...

Видение отступило.

– Миленький ты мой, – она гладила Ермака по рукаву, и слёзы бессилия набухали прозрачными круглыми каплями в уголках глаз.

– Всё будет хорошо, миленький ты мой, всё у нас ещё будет хорошо.

Она опустила его на землю, словно отпуская своё горе восвояси.

Ермак лежал на спине и молча глядел в широкое пронзительное небо. В небе летели журавли и кричали мягкими голосами.

– Курлы, курлы, курлы... – живые журавли тоже говорили

на каком-то древнем журавлином языке, и не было у этого языка перевода на человеческую речь, и не нужен был никакой перевод, всё и так было понятно.

Курлы... курлы... курлы... – как тающий след самолёта,плыли и растворялись в воздушных потоках мягкие струи журавлиной песни.

Ермак был мёртв. Раскинутые рукава брутальной куртки больше никого не держали. Тот, кого Елена Николаевна помнила Ермаком, уже поднимался вверх, туда, где сквозит острие зенита, где небо уже огромное и глубокое, как опрокинутый мировой океан. И Елена Николаевна поняла, что океан опрокинут здесь, над Россией. И не было ничего шире и яростней этого русского, бессмысленного и беспощадного неба.

А на земле, одна, сидела красивая русская женщина Елена Николаевна. Огонь небесный её расширенных зрачков бил страшно и яростно. Иссохшее горе без слёз – сухое и прожигающее, как арамейская пустыня. Тонкий запах солнечной пыли.

И, нет, она никогда больше не плакала – она светилась и улыбалась.

МЕСТО ВАСЬКИ БОМЖА

Бомжовость не была для Васьки чем-то мучительным и несколько его не оскорбляла. Он воспринимал это своё житиё как альтернативу окружающему рекламному рабству.

«Настоящее, на него ведь надо решиться, – рассуждал Васька. – По крайней мере, я никому ничего не должен».

Каждый день Васька наблюдал из своего угла, как мимо суетились небомжовые граждане.

За всё время наблюдений Васька нашёл только два признака, которыми различались небомжовые между собой.

Первый признак был из области гастрономической и выражался на лицах разной степенью сытости. Об этом признаке можно рассуждать совершенно отвлечённо, так как никакой солидарности он не предполагал, а больше раздражал самих граждан. Правда, как казалось со стороны, гражда-

не приписывали своё раздражение чему угодно, кроме стремления к сытости.

«В общем-то, это правильно, тем более что даже немного облегчает чувство собственной виноватости, которое, конечно же, никуда не деть, и гложет оно гражданина из глубины подсознания. Да, небомжовым гражданам жить приходится несладко», – мысли Васьки всегда носили рассудительный характер, уж такова была его неискореняемая слабость.

Второй признак, которым различались граждане, был чисто техническим. Он заключался в способности переносить себя от места ночёвки к месту суеты с разной степенью комфорта. Одни суетились пешком и общественным транспортом, а другие – на личном автомобиле – вот и всё различие.

Всё оказывалось понятным, когда наблюдаешь из своего угла, а пёстрая масса небомжовых граждан превращалась в один нервический поток, из которого выныривали то бампер джипа, то рука с продуктовым пакетом, то ещё какая-то общая деталь взвизгивающей повседневности.

Единственное, что смущало, это определение промежутка, когда злобное полуголодное лицо гражданина перетекало в самодовольное сытое. Это совершенно неуловимое изменение переводило гражданина из категории пешкообразных в касту автоездовых, но когда это изменение случалось и где та срединная форма сытости, этого заметить никак у Васьки не выходило. Всегда оказывалось, что проскальзывающие мимо лица относятся либо к голодной низшей, либо к сытой высшей категории.

В конце концов, Васька решил, что небомжовых объединяет здесь именно продуктовый инстинкт, а всё остальное – нюансы потребительских возможностей. В вопросах питания наблюдалось одно очевидное стремление – все стремились пожрать побольше, получше и посытнее.

«Главное же выявить и обобщить, а там и само понятно», – Васька выявил и спал спокойно.

Поесть Ваське тоже хотелось.

И хоть не с таким остервенёлым фанатизмом, как небомжовые граждане, но Васька тоже искал себе иногда еду. Воровать он не умел и потому боялся даже пробовать. Основным источником пропитания были для Васьки мусорные баки.

К еде Васька относился как к неизбежной необходимости, но вот что действительно ценил, так это покой.

Ценность покоя росла с опытом. Накопившись достаточно, опыт позволил заключить – покой найти очень сложно, потому что от тебя всё время кому-то что-то было нужно.

Нужно было в том смысле, что небомжовые оказывались везде и везде обращали на Ваську своё назойливое внимание.

«Казалось бы, никому ничего не должен, ну так и отвяжитесь от человека. Ан нет, лезут и лезут. Кто со своим слащавым участием, кто с претензиями», – беспокоили небомжовые граждане Ваську постоянно, и чем дальше он прятался, тем сильнее оказывалось беспокойство.

Отдельная история – это полицейские патрули. Те выискивали Ваську специально и беспокоили так дуболомно и тупо, что казались заведёнными розовощёкими брёвнами.

«То ли их какой специальной кашей кормят, что они все такие розовощёкие и дубовые?» – недоумевал Васька.

Вообще было странно, что вокруг ходили и ездили хамы, неучи, жулики и воры, но их никто особо не беспокоил своим назойливым полицейским вниманием. Зато Ваську-бомжа беспокоили все кому не лень, от полиции до базарных тёток.

Васька-бомж не воровал, не пьянствовал и даже не курил, он только забивался в свой угол и только потому, что другого дома у него не было.

Та, прошлая небомжовая жизнь, которая когда-то то ли была у Васьки, то ли ему казалась – она забылась почти начисто. От прошлого Ваське перепал обрывок человеческого ФИО и клочки тёплых, полусонных привычек.

«Может, я и вправду был кем-то важным, может, даже и учителем в школе или там даже профессором», – но о прошлом можно было только мечтать, потому что никакого такого прошлого он не помнил.

«Васька, ты на вот, на. Тут осталось ещё, выкидывать-то жалко будет», – небомжовый водила Петрович сидел на корточках перед Васькиным углом, протягивая перед собой еду.

Васька взял промасленный кусок оберточной бумаги с зажатым в ней недоеденным чебуреком. Петрович довольно ощерился, и у него во рту мелькнули неровным частоколом железные коронки.

«Поешь хоть, а то вот сидишь тут», – неопределённо прокряхтел старый водила и, поднявшись, ушёл к своему потрёпанному ПАЗику. Удалялся Петрович как бы рывками, приваливаясь на

левый бок и нелепо болтая правой кистью, словно хотел показать что-то и всё никак не мог определиться, что именно.

Мясо в чебуреке было выгрызено подчистую. Васька достал из кармана целлофановый мешочек, аккуратно положил в него прожаренное чебуречное тесто и запихал мешочек обратно в карман.

Невдалеке кучковались таксисты-частники.

– Не, ну ты слышь, Серёга-то, он как бы не при делах, а этот ему наезжает, ну как бы тачку типа сам делай, мне вообще, говорит, не при делах как бы, ну, это самое, не будет платить вообще.

– Да Серёга сам, чё он быковать-то начал, надо было по уму оформлять и всё, а так, оно конечно, мужик откажется и всё, и ничё не сделаешь.

– Ну ясно дело, а ему-то как бы от этого не легче, тачка-то в ремонте теперь зависнет на неделю, а то и вообще на полмесяца. Тот-то мужик на навороченной, бабла, походу, вагон, а Серёге теперь работать на чём. Этот мужик, он как бы мог и по-людски поступить, понять-то можно да и всё, а так Серёге попадать, а тому вообще без разницы.

– Ну, так-то да. Чё вообще за народ пошёл, у него бабла нормально, а он жабит ещё больше.

– Там, Серёга говорит, разбирались когда, так этот мужик за каждый клапан удавиться готов был. Не, ну ты сам прикинь, если он за клапан так, то за остальное вообще понятно. Он, клапан-то, сколько там, рублей двести стоит. Я бы даже базарить не стал, тут пошёл бы да купил без базара, жалко, что ли, если на крутой, так две сотки-то вообще копейки, а мужик-то жабит, жалко ему, что ли.

Мимо гудели проезжающие грузовики, стучали трамваи и копошились прохожие.

«Жалко, конечно же, жалко, не ясно им, что ли, что чем больше, тем жалче», – Васька поморщился от этой мысли и выпрямил затёкшую ногу.

Если смотреть на мир со стороны, то сразу начинаешь задумываться, а где этот мир, в истеричных автомобильных и общественных вскриках, в неровных движениях тел и машин? Может, тот мир, который единственный, который и называется миром по-настоящему, он где-то там, наверху, где ещё нет такой толкающей тесноты, а разваленные тучи ещё могут себе позволить быть неторопливыми и по-настоящему грозными. Васька пока не нашёл окончательного ответа на этот вроде простой, но если разобраться, то совсем неоднозначный вопрос. Васька пока наблюдал за небожовыми гражданами. Наблюдал, прячась в своём углу. Наблюдал из-под бетонной плиты городской теплотрассы.

Ещё одно наблюдение Васьки божжа было на первый взгляд случайным.

Глядя весь день из своего закутка за стеклянные витрины магазинов, блеском которых было заполнено пространство с гордым именем площадь Свободы, Васька заметил, что самые большие очереди всегда были в продуктовые отделы и аптеку. Неслучайная связь между этими очередями прояснилась внезапно.

Однажды мимо проходили два очкастых мужика, и из их оживлённой беседы до Васьки долетел обрывок.

– Всё стоят и стоят. Зайдёшь за булкой хлеба, а там очередь,

зайдёшь за пачкой парацетамола – и там опять очередь. То ли привычка у дураков стоять гуськом такая, прямо никаким избытком не вытравить, – говорил глухим басом очкастый, который пожирнее и помельче ростом.

На что второй, плотно сбитый, но с небольшим брюшком под полосатым свитером, бросил, словно между прочим:

– Так нажираются вначале всякой химии, потом лечатся, и тож химией, вот и выстраиваются за дозами – сначала в продуктовый отдел, потом в аптечный, – очкастый номер два скривился и провёл ладонью по полоскам свитера на животе.

– Народ у нас такой, – полосатый повертел пальцами в воздухе. – Быдло.

* * *

Поздно вечером, когда январский мороз набирает особенную силу и готовится морозить и дуть сквозняком во все щели, за Васькой погнались какие-то непонятные граждане. Он как раз отходил от мусорного бака, и вдруг ударили автомобильные фары, а из-за них закричали.

– Лови, вон он!

– Да здесь, здесь засел, я точно говорю!

– Оба-на, сейчас подрежем-то!

Васька метнулся за угол дома и увидел раскрытую дверь подъезда.

«Чудо», – пронеслось у Васьки в голове молниеносной вспышкой.

Все подъезды закрыты на домофонные замки, но этот сияющий свет впереди говорил о том, что проход свободен, и Васька ринулся в него, припадая к подвальному окнам и запыханно оборачиваясь назад.

Заскочил и юркнул под лестницу. Затих.

В подъезд ввалилась супружеская пара. Под лестницу прокатилась слабая волна запахов – винегрет, дешёвый алкоголь и лосьон после бритья.

– Кто-то заскочил, ты что, не видела, что ли, – шатающийся мужской баритон икнул и завис над лестницей.

– Ну опять бомж туда залез, туда, под лестницу. Они и воняют здесь, и дверь специально сломали, – женский визгливый голос повысился на слове «специально» и настойчиво дребезжал, отскакивая от стен пустого подъезда.

– Ну посмотри, посмотри, чего стоишь-то! Надо выгнать, а то опять всё загадят, ну что ты стоишь!

Мужчина тяжело запыхтел и зашебуршал одеждой.

Зажёгся тусклый экран телефона. Огромная мутная тень стала опускаться по стене, намереваясь занырнуть под лестницу.

Васька испугался, что вот сейчас достанут и начнут трепать, а потом на улицу выкинут. На улице холодно так, что не по-человечески всё.

И от страха залаял собакой.

«Что вот, мол, сами испугаются и отстанут, оставят в покое, а он здесь погрееется, полежит да подремлет в пыльной подвальной темноте», – спутанные мысли проносились в Васькиной голове, пока он лаял по-собачьи и по-собачьи же пятился глубже и глубже в подвал, а потом провалился.

Видно, под лестницей лаз какой-то был, и попал Васька в него совершенно случайно.

Притихнув, подслеповато поморгал и различил три похожих на человеческие силуэта, темнеющие темнее, чем темнота вокруг.

Они лежали на полу клубками, свернувшись, как собаки, и только Васька к ним провалился, то зашевелились, завставали.

– Э, ты чо там? – хрипло и агрессивно выплюнул один клубок.

Васька уже привык к темноте и различал физиономию с уголовными глазами. Новая волна страха накатила на Ваську, и он начал хорохориться.

– Ничего, ты отстань, – Васька попытался придать голосу развязной наглости и угрозы.

Уголовный поднялся и пошёл на Ваську напролом, шебурша у себя за пазухой. Страх подтолкнул вперёд, и Васька сделал выпад, будто в руке у него спрятан ножик.

Он мягко тыкал пустой рукой в туловище напугавшего его уголовного.

«Так тебе, так», – стучало бессмысленно в голове, но рука упиралась в ватник уголовного и пружинисто отталкивалась обратно.

– Опачки, – услышал Васька над ухом, и до него дошла, оглушительно допрыгнула острая боль в правом боку.

Тело переломилось и будто зачесалось справа, под грудью. Зуд беспокоил и беспокоил. Васька хотел ползти от зуда в угол, пробираться по грубым осколкам бетона, но было так темно, что темнота стала ощутима всей кожей. Темнота превратилась в густой битум, и Васька всё никак не мог протолкнуть вперёд руку.

У кого-то наверху, за дверью орал телевизор.

– Вот вы говорите минусы, а продолжительность жизни, а?! Я вам говорю, вы посмотрите, нигде в Европе нет такой жизненной продолжительности! А материнский капитал? Вы слышали где-нибудь

про материнский капитал, я вас спрашиваю?!

Васька не слышал. Он думал про то, что вот хорошо сейчас дома, после уроков, сидеть и смотреть, как мать собирает в саду яблоки. Яблоки крутобокие и пышные, а руки матери держат у бока большой эмалированный таз.

– В покрывало, в покрывало надо, чтоб не кровило, – Ваську поволокли.

Между прочим, не Васька, а Василий. Он раньше вроде был учителем. И не каким-то там педагогом, который, как банкомат, ни душе, ни сердцу, а учителем.

Ваську затащили и бросили на площадке первого этажа.

– Надо б позвонить хоть кому, что ль. Ну, в дверь кому, и дёрнем?

– Ага, чтоб тут и запалили, – зло прокашлял страшный шепот уголовного.

– Давай, сюда под дверь и валим.

Горят и искрами вспыхивают в голове мысли, как отсветы от пламени в голове. Горячо, ох горячо, когда тебя в бок, да ножичком. И кровь такая, что железной стружкой пахнет. И вязкая, да не густеет только, а всё, как из бочки прохудившейся, течёт и течёт. Нет конца этой крови будто бы. Только кажется теперь, что и начала у неё нет, что всегда так было, есть и будет – горячо и железом струганным пахнет. А если кровь железом пахнет, то и вязкая она тогда правильно, ведь железо плавят когда, оно на кисель вроде похоже и льётся густо-густо.

Блажен ты был, Василий, блажен остался. Так и помирать не страшно, Блаженным-то.

Холодно так. Не по-человечески всё.